

ОЛДОС ХАКСЛИ

СЛЕПЕЦ В ГАЗЕ



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44
Х16

Серия «Эксклюзивная классика»

Aldous Huxley
EYELESS IN GAZA

Перевод с английского *М. Ловина*

Серийное оформление *А. Фереца, Е. Фerez*

Печатается с разрешения Aldous and Laura Huxley Literary Trust,
наследников автора и литературных агентств
Georges Borchardt, Inc. и Andrew Nurnberg.

Хаксли, Олдос.

Х16 Слепец в Газе : [роман] / Олдос Хаксли ; [перевод с английского М. Ловина]. — Москва : Издательство АСТ, 2022. — 576 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-147874-2

«Слепец в Газе» (1936) — роман, который многие критики называли и называют «главной книгой Олдоса Хаксли». Холодно, талантливо и безжалостно изложенная история интеллектуала в Англии 30-х годов прошлого века — трагедия непонимания, нелюбви, неосознанности душевных порывов и духовных прозрений...

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

© Aldous Huxley, 1936
© Издание на русском языке AST Publishers,
2022

ISBN 978-5-17-147874-2

Слепец в Газе, на мельнице
среди рабов.

Дж. Мильтон. «Самсон-борец»

Глава 1

30 августа 1933 г.

Снимки стали такими же тусклыми, как и воспоминания. Самое начало нового века. В саду стоит молодая женщина, похожая на призрак, который вот-вот исчезнет с первым криком петуха. «Моя мать», — подумал Энтони Бивис. Год или два, а может быть, месяц или два до того, как она умерла. «Но какова прическа», — думал он, вглядываясь в бурый призрачный туман фотографического отпечатка, она похожа на фигурно подстриженные кусты. Эти кривые, словно лебединая шея, бедра! Эти поникшие, опущенные вниз продолговатые груди, глядя на которые было совершенно невозможно представить их на обнаженном теле! А эти волосы! Прическа напоминала узорчатый куст, придававший черепу нелепую, прямо-таки уродливую форму! Каким до странности отвратительным и отталкивающим казалось все это теперь, в тридцать третьем году. И все же, все же, стоило ему закрыть глаза (он просто не мог этого не сделать), как перед его внутренним взором возникал образ матери: вот она с видом томной красавицы сидит в своем любимом шезлонге; вот, проявляя необыкновенную живость, играет в теннис или скользит на коньках по льду давней-давней зимой.

То же самое можно было сказать и о фотографиях Мери Эмберли, сделанных десять лет спустя. Та же длинная юбка, узкий клеш которой

скрывал нижние конечности — казалось, что безногая женщина скользит по траве на роликах. Правда, надо признать, что груди были немного приподняты, а мощный зад сильно обтянут, однако общая форма тела была до странности нелепой. Краб, оплетенный китовым усом. А этот писк моды одиннадцатого года — огромная шляпа с перьями — ну ни дать ни взять сцена французских похорон первого разряда! Неужели мог найтись мужчина в здравом рассудке, способный увлечься этим антиподом Афродиты? И все же снимки врут — Энтони хорошо помнил Мери — она была живым воплощением страстно желанной женственности. Даже теперь при одном взгляде на этого украшенного перьями краба на колесиках у Энтони сильно забилося сердце и перехватило дыхание.

Прошло двадцать, затем тридцать лет после того события, и снимки вынесли на поверхность лишь далекое и неведомое. Но неведомое (печальная закономерность!) всегда граничит с нелепостью. Напротив, все, что ему удалось вспомнить, было чувством, испытанным в то время, когда неизвестное казалось известным, когда бред, воспринимаемый как должное, не кажется такой нелепицей. Трагические воспоминания всегда похожи на Гамлета в современном наряде.

Как прекрасна была его мать — прекрасна, невзирая на нелепые завитки волос, выступающий зад и отвислую грудь. А Мери! Да она же способна свести с ума в своем черепашьем панцире и траурных перьях! Да вот и он собственной персоной: в светло-бежевом коверкотовом пальто и ярко-красном шотландском берете, или в зеленой бархатной куртке с манжетами; или в школьной форме — бриджах с кожаными крагами; или в котелке и накрахмаленной манишке

(это воскресный наряд), в будни на голове маленького Энтони красовалась черная школь-

ная фуражка с красным околышем — даже он сам, вспоминая себя в те годы, видел этого мальчика только в современной одежде, но никак не в уродливых одеяниях, изображенных на фотографиях. И все же внутреннее чувство подсказывало, что и в тех нарядах он тогда выглядел не хуже, чем мальчики тридцатых годов в своих вязаных свитерах и шортах. Это доказательство, отчужденно подумал Энтони, разглядывая итонскую фотографию, на которой он был изображен со спины в цилиндре и фраке, доказательство того, что прогресс можно лишь выразить словами, но нельзя прочувствовать. Он достал записную книжку, открыл ее и записал: «Прогресс, вероятно, ощущается историками, но его никогда не чувствуют те, кто его в действительности переживает. Для молодых прогресс — естественная среда обитания, а старики через несколько месяцев или лет начинают воспринимать новшества как нечто само собой разумеющееся — они тоже перестают ощущать новшества в качестве таковых. Никто не испытывает по их поводу признательности, только раздражение, если по тем или иным причинам прогресс дает сбой. Люди не благодарят Бога за автомобиль; они лишь ругаются, когда отказывает карбюратор».

Он закрыл записную книжку и вновь принялся созерцать старомодный цилиндр.

Послышался звук шагов, и Энтони поднял глаза. Элен Ледвидж решительной подпрыгивающей походкой шла по террасе к дому. Ярко-красный пляжный костюм отбрасывал огненный отсвет на прикрытое широкими полями шляпы лицо женщины, придавая ему нечто inferнальное, словно Элен находилась в аду. Немного поразмыслив, Энтони решил, что это действительно так. Сознание — вот истинное место преисподней, и, следовательно, Элен

постоянно носит с собой свой ад — ад нелепого замужества, и, возможно, не его одного. Но Энтони всегда воздерживался от того, чтобы слишком пристально вникать в природу этого ада, притворяясь, что ничего не замечает даже тогда, когда Элен сама предлагала себя на роль Вергилия своего чистилища. Такое дознание приведет лишь к всплеску эмоций и осознанию ответственности, а у него нет ни времени, ни сил на эмоции и ответственность. Работа прежде всего. Подавляя любопытство, он упрямо продолжал играть роль, которую давно для себя выбрал, — роль Диогена, отстраненного философа, фанатика от науки, который не видит вещей, очевидных для каждого нормального человека. Он вел себя так, словно в лице Элен не было ничего, кроме внешней красоты и отличной кожи. Однако, конечно, нельзя отрицать, что плоть не бывает совершенно непроницаемой; душа всегда прорывается сквозь стены своего обиталища. Эти ясные серые глаза, этот рот со слегка вздернутой верхней губой бывали жесткими и временами почти безобразными, когда выражали печаль и обиду.

Отблеск дьявольского пламени погас, как только Элен вошла с яркого солнечного света в тень дома, но внезапно ставшее бледным лицо все равно несло на себе явный отпечаток горькой меланхолии. Энтони взглянул на нее, но не поднялся с места и даже не счел нужным поздороваться. Между ними существовал уговор — никаких внешних проявлений чувств, никакой сентиментальности. Никакой, даже той, которая нужна для того, чтобы просто сказать: «С добрым утром». Когда Элен вошла в кабинет через открытую стеклянную дверь, Энтони вновь погрузился в рассматривание фотографий.

8 — Вот и я, — произнесла она без улыбки. Она сняла шляпу и красивым нетерпеливым дви-

жением головы отбросила назад рыжеватые локоны. — Отвратительная жара! — Она швырнула шляпу на диван и подошла к письменному столу, за которым сидел Энтони.

— Не работается? — спросила она с удивлением. Энтони редко можно было увидеть не зарывшимся в книги и бумаги.

Он покачал головой.

— Давай сегодня обойдемся без социологии.

— Что ты так внимательно разглядываешь? — Подойдя сзади к его креслу, она склонилась над разбросанными по столу фотографиями.

— Свой собственный труп. — Он протянул ей фотографию призрака давно не существующего итонца.

Несколько мгновений Элен молча рассматривала снимок.

— Ты был в то время очень мил, — заметила она.

— *Mersi, mon vieux!** — С преувеличенной фамильярностью он похлопал ее по заду. — В Итоне у меня было прозвище Вениамин, сын Рахили¹. — Кончиками пальцев Энтони чувствовал округлость упругой плоти, хотя сухой, скользкий и невероятно гладкий шелк платья придавал этому ощущению неприятный оттенок. — Вениамин был вечно голоден. Я выглядел как сущее дитя.

— Ты был очень мил, — произнесла она, не обратив внимания на то, что он перебил ее. — На самом деле мил и очень трогателен.

— Я таким и остался, — улыбнулся Энтони.

Она молча посмотрела на него. Обрамленный темными густыми волосами лоб был гладок и безмятежен, как у задумавшегося ребенка. Детским, и это было немного комично, был и короткий вздернутый

* Спасибо, дружище! (*фр.*)

нос. В глазах, прикрытых сощуренными веками, плясали искорки смеха, уголки рта приподняты в едва заметной улыбке — в легкой иронической усмешке, противоречившей тем чувствам, для выражения которых были созданы губы Элен. У нее были полные, чувственные, изящно очерченные губы; соблазнительные и в то же время мрачные, печальные и почти трепетно чувствительные; эти губы казались совершенно беспомощными и покинутыми на произвол судьбы маленьким, безвольным подбородком.

— Худшее заключается в том, — произнесла наконец Элен, — что ты прав. Ты действительно мил, ты действительно трогателен. Самое ужасное, что ты не должен вызывать таких чувств. Это сплошной обман, когда ты пускаешь людям пыль в глаза и заставляешь их любить себя совершенно ни за что.

— Ну знаешь ли!.. — воспротивился он.

— Ты даешь им повод давать тебе что-то в обмен на дутий пузырь.

— По крайней мере, я не притворяюсь. Нет толку в том, чтобы изображать великую страсть. — Он распевно протянул «е» и скартавил на «эр». — Нет, даже то, что называется *Wahlverwandschaft**, — добавил он, перейдя на немецкий, из-за чего вся романтика родственных душ и вакхических страстей зазвучала смешно. — Можно просто чуть-чуть повеселиться.

— Чуть-чуть повеселиться, — отозвалась Элен, задумавшись о том времени, когда началось их знакомство и когда она, еще совсем юная, стояла на пороге дома, что называется Любовью, никак не решаясь войти. Но как уверенно, без лишних слов и с подчеркнутой галантностью, как безнадежно и окончательно захлопнул он перед ней дверь! Он не пожелал быть лю-

бимым. В течение секунды она была на грани духовного опустошения; затем же, с горьким и саркастичным отвращением, без которого ей уже невозможно было смотреть на его лицо, она согласилась на все условия. Они были приемлемы, поскольку ничего другого в будущем не предвиделось, да и хотя бы по причине того, что он был знаменитостью и она в конце концов сильно привязалась к нему; может быть, еще и потому, что он, по крайней мере, знал, как доставлять ей физическое удовольствие. — Чуть-чуть повеселиться, — повторила она и презрительно усмехнулась.

Энтони смерил ее удивленным взглядом, чувствуя неудобство от того, что она едва не нарушила молчаливое согласие между ними и коснулась запретной темы. Однако его опасения оказались напрасными.

— Приму к сведению, — вымолвила она после небольшой паузы. — Ты, как всегда, честен, но это не меняет того, что тебе достается все в обмен на мыльный пузырь. Считаю, что это непреднамеренный обман. Твое лицо — твое главное достояние. Внешность есть внешность. — Она снова согнулась, рассматривая фотографии. — Кто это?

Он секунду помедлил с ответом, затем, улыбаясь, но чувствуя в то же время некоторое неудобство, произнес:

— Одно из несерьезных увлечений. Ее звали Глэдис.

— Весьма возможно. — Элен презрительно поморщила нос. — Почему ты расстался с ней?

— Она ушла сама. Предпочла кого-то другого. Да я не особенно и возражал.

Он хотел сказать что-то еще, но она перебила его:

— Может, ее любовник часто беседовал с ней в постели.

Энтони покраснел.

— Это ты к чему?

— Довольно странно, но некоторые женщины любят разговоры перед сном. А когда она поняла, что ты не собираешься с ней разговаривать... Ты же никогда этого не делаешь. — Она, отложив в сторону Глэдис, взяла в руки фотографию женщины, одетой по моде начала века. — Это твоя мать?

Энтони кивнул.

— А вот твоя, — произнес он, указывая на снимок Мери Эмберли в «похоронной» шляпе. Потом с едва заметным отвращением добавил: — Человек постоянно обречен тянуть за собой груз прошлого. Существует все же какой-то способ избавиться от ненужных воспоминаний. Терпеть не могу этого Пруста. Просто не выношу. — И с неподдельно клоунским видом он принялся рисовать портрет чахоточного искателя утраченного времени, скукоженного, мертвенно-бледного, с дряблыми мышцами и грудью почти что женской, поросшей длинной черной растительностью, обреченного вечно барахтаться в помоях своего незабываемого прошлого. Высохшие мыльные хлопья от бесчисленных ванн, принятых за всю жизнь, клубились вокруг него, и многолетняя грязь облепила коркой стены лохани и оседала мутной взвесью на дне. Он сидел там, бледнотелый, уродливый старик, загребая горстями мыльную мякоть и размазывая ее по лицу, черпая блеклую пену и раскатывая грязный песок вокруг губ, засасывая его ртом и носом, как пандит² в потоках Ганга.

— Ты описываешь его как заклятого врага, — заметила Элен. Энтони не нашел ничего лучшего, как рассмеяться.

Последовало молчание, и Элен подняла с пола упавшую фотокарточку своей матери, принявшись внимательно разглядывать ее, будто

та представляла собой некую тайнопись, которая, будучи расшифрованной, могла бы стать ключом к разгадке важного секрета.

Энтони какое-то время наблюдал за ней; затем, сделав над собой усилие, загреб ворох фотографий и вынул из него дядюшку Джеймса в теннисном костюме тысяча девятьсот шестого года. Он умер давно — от рака, бедный старик, нашедший утешение в католической религии. Он бросил этот снимок и взял в руки другой, групповой портрет на фоне туманных альпийских гор: отец, мачеха и две сводных сестры. «Гриндельвальд, 1912» — стояла надпись на обороте, сделанная четким почерком мистера Бивиса. Энтони заметил, что у всех четверых в руках были альпенштоки.

— Я бы тоже хотел, — произнес он вслух, кладя на стол фотографию, — я бы хотел, чтобы мои дни отделялись друг от друга периодами противоестественного неверия.

Элен взглянула на него, оторвав глаза от таинственной криптограммы.

— Зачем ты тратишь время, перебирая старые карточки?

— Я делал уборку в шкафу, — объяснил он. — И они вылезли на свет божий. Как мумия Тутанхамона. Я не мог противиться искушению, чтобы не взглянуть на них. Кроме того, сегодня мой день рождения.

— То есть как день рождения?

— Сорок два года. — Энтони покачал головой. — Слишком удручает. И поскольку человеку всегда свойственно драматизировать события... — Он поднял со стола еще одну пачку фотографий и разжал пальцы. — Мертвые воскреснут по гласу трубному. В этом виден перст Судьбы. Все во власти его величества Случая, если хочешь знать.

— Ты, наверное, крепко любил ее? — спросила Элен после очередной паузы, держа перед ним прозрачное изображение своей матери.

Он кивнул и, чтобы перевести разговор на другую тему, внезапно заявил:

— Она пробудила во мне интерес к культуре. Я был наполовину дикарем, когда попал к ней в руки. — Ему не хотелось разглашать свои чувства к Мери Эмберли, особенно (хоть это и был, без сомнения, глупейший пережиток варварства), когда дело касалось Элен. — Бремя белой женщины³, — добавил он с усмешкой. Затем, снова взяв в руки фото с альпенштоком, произнес: — Вот откуда она меня вытаскивала. Темные ущелья Швейцарии. Никогда не перестану благодарить ее.

— Жаль, что она не сумела родить саму себя, — проговорила Элен, когда вдоволь нагляделась на альпенштоки.

— Кстати, как она теперь?

Элен пожала плечами.

— Чувствовала себя лучше, когда вышла из санатория этой весной. Потом, естественно, все началось сызнова. Старая история. Морфий, а в перерывах алкоголь. Я видела ее в Париже по пути домой. Это было невыносимо. — Она содрогнулась.

Насмешливо-ласковая, его рука все еще гладила ее по бедру, что неожиданно показалось совершенно неуместным. Он опустил руку.

— Не знаю, что и хуже, — заметила Элен после паузы. — Грязь, ты даже не представляешь, в каких условиях она живет. Либо хамит, либо не говорит ни слова правды. — Она глубоко вздохнула.

Движением руки, в котором не было ничего насмешливого, Энтони сжал ее запястье.

14 — Бедняжка Элен!

Отвернувшись, она постояла несколько секунд молча, без движений, затем тряхнула головой, словно отгоняя какое-то наваждение, и Энтони почувствовал, как ее безвольная ладонь внезапно сильно сжала его руку. Она обернулась к нему, ее лицо оживилось, став наигранно веселым.

— Нет, это Энтони-бедняга. — Из ее горла вырвался странный и неожиданный звук от сдавленно-го смеха. — Фальшивое притворство!

Он пытался уверить ее, что сейчас он и не думал притворяться, но она наклонилась и, словно злобный насильник, прижалась своими губами к его губам.

Глава 2

4 апреля 1934 г.

ИЗ ДНЕВНИКА ЭНТОНИ БИВИСА

Жизнь любого человека увенчивают пять слов: *video meliora proboque; deteriora sequor**. Как и все живые существа, я знаю, что я должен делать, но почему-то продолжаю делать то, что не должен. Сегодня днем, например, я вышел проведать несчастного Беппо, который лежит с осложнением после гриппа. Я знал, что нужно было посидеть с ним и дать ему излить все жалобы на неблагодарность и жестокость со стороны молодых, развеять страх перед приближающейся старостью и одиночеством, жуткую мнительность по поводу того, что окружающие считают его занудой и *ne pas à la page***.

Князя Болинские устраивают вечеринку и не приглашают его, Хэгворм не звал его на воскресный бал с ноября месяца... Я чуял нутром, что

* Вижу и одобряю лучшее, а следую худшему (лат.). — Овидий «Метаморфозы».

** Отставший от жизни (фр.).